



Владимир ЛИЧУТИН – известный российский писатель, представитель русской деревенской школы.

Владимир Личутин родился в 1940 году в городе Мезень Архангельской области, в 1960 г. окончил лесотехнический техникум, в 1962 году – факультет журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова, в 1975 году – Высшие литературные курсы при СП СССР.

Автор повестей «Белая горница» (1972), «Иона и Александра» (1973), «Долгий отдых» (1974), «Вдова Нюра» (1974), «Душа горит» (1976), «Бабушки и дядюшки» (1976), «Золотое дно» (1978), «Крылатая серафима» (1978), «Последний колдун» (1979), «Фармазон»

и других, а также романов: «Любостай» (1987), «Душа неизъяснимая» (1989), «Раскол» (1997), «Миледи Ротман» (2001), «Беглец из рая» (2005).

Лауреат «Большой литературной премии России» (2006) за роман «Беглец из рая», литературной премии «Ясная поляна» (2009) за роман «Раскол», литературной Бунинской премии (2011) за повесть «Река любви», премии правительства РФ (2001) в области культуры – за роман «Раскол», премии «Золотой Дельвиг» (2012) – за исследование национального характера и духовной природы русского человека в книге «Душа неизъяснимая».

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «БЕГСТВО ИЗ РАЯ» ПЛОТЬ ИГРАЕТ

Серп-молодик лежал на спине, выставив рога, и в этом серебристо-палевом свете дорога, обложенная синими сугробами, лоснилась, как слюдяная, замёрзшая в покое вода. Свет от луны шёл сполохами, перекатываясь по небу, словно над нами, присматривая за ночной землёю, брёл караульщик с дворовым фонарём. Вот направил сноп света на Красную горку, и над кладбищем выпятился елушник, потом в прогале меж стволов нарисовались угрюмые развалины церкви, серые снега вдруг ожили и, как выбродившее тесто, полились через ограду; за кривым чстоколом на миг проявились редкие тычки крестов с хомутами озябших венков. Небесный сторож убрёл к выселкам, и погост отступил от любопытного взгляда в тёмно-синий морок. Тропка к воротам едва угадывалась, глубокая, словно лосиный наброд, значит, из деревни на могилки давно не приваживали новых насельщиков. Снег поскрипывал и покряхтывал под ногами, морозный воздух заиливал

ноздри, сбивал дыхание. Призрачно было на воле, странно и чудно, все заколело вокруг, таинственно замрело и замерло навеки в желанном глубоком сне и уже не чаяло очнуться.

Зулус остановился напротив кладбища, низко поклонился и, содрав шапку, осенил себя крестом. Дышал он рывками, запаленно. Лицо стало чёрным, как головешка, лишь под луною льдисто белела голова. Фёдор хлюпнул, шваркнул носом, и я понял, что мужик плачет. Мне стало неудобно подглядывать за чужим горем, и я неторопливо двинулся к выселкам, отбивая пятки о череп дороги. Зулус скоро догнал, дыхнул на меня перегаром и свежим куревом. Он шагал крупно, широкой тенью перекрывая мне путь, как шлагбаумом, лёгкий засиверок относил клубы ядовитого дыма встречь, и мне невольно приходилось отворачивать лицо. Горечь от неприятного мне табака скребла горло, будто наждаком, и я раздражался, переносил неприязнь и на валковую ходьбу Фёдора, на его военную отмашку руками, привычку чадить, не замечая никого возле, и на клокочущий в груди мокрый сип, которого раньше не наблюдалось.

– Не рви сердце-то... – сказал я. – Что делать... Все там будем в свой черёд...

Зулус уловил жёсткость в голосе и отрубил с надсадою:

– Кто-то в свой срок, а иные досрочно... Ты разве знаешь, каково хоронить дочь? А... Откуда тебе знать. – Фёдор отщёлкнул окурок и тут же выбил из пачки свежую сигарету.

– Бросай курить! Табак задушит...

– Уже всё равно, – и добавил равнодушно, с весёлой обречённостью, – кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт... Ты, конечно, до ста лет собрался жить? До ста-а... Будешь тлеть, как вонючий окурок. А по мне лучше пых, и сразу – в расход, чтобы не волочили по постелям, как бревно. – Вдруг споткнулся, хлопнул себя варегой. – Эх, дурная башка... Бутылёк-то я на столе забыл. Ступай всё прямо и прямо...

Я не успел остановить Зулуса, как он уже пропал в снежной курёве, вдруг поднявшейся над деревней и враз загасившей луну и мерцающий Батыев путь, и лесную гриву, где меня ждали.

Ветер так же неожиданно крылом ушёл за реку, луна, чуть припорошенная небесной пылью, немедля выскочила из-за тучи в иордань, и берёзовая рощица, куда я попадал на рысях, осветлилась, внезапно выстала передо мною из темени, как бы умащённая серебристым воском. Запурханное снегом крайнее окно тускло желтело, и я уже направил ноги к дому, когда дверь в бане приоткрылась, раздался сочный бабий визг, огромная спелая рыбина выметнулась из клубов пара и шлёпнулась животом в сыпучие

барханы, завозилась, заелозила в сугробе, загребая колючие вороха руками, погружаясь с головою в обжигающую глубину, вскидывая нажиганные веником ноги, и мне, греховно затаившемуся в темноте за берёзовым облещенным стволом, почудилось, что вовсе и не ноги рассохою приметил я, а взметнулся русалий раздвоенный хвост в искрящейся чешуе. Снова бухнула с раскатом дверь, донёлся из мыленки иступлённый, какой-то бесстыдный смех... Мне вдруг стало не по себе, словно неожиданно возвратился в детство... Это я, робко прильнув к лоскуту отпотевшей банной стеклины, забранной в иней, застенчиво, но и вожделенно, впервые чуя непонятную ещё, напирющую мужскую страсть, уже особенным взором разглядываю розовое бабье тело с приоплывшими грудями в лохмотьях пены, колтун намыленных волос, хочу, но отчего-то не решаюсь перевести глаза ниже... Тут я некстати оступился от волнения и угара, меня по сугробу окатывает к пристенку, и я невольно прикладываюсь лобешником в переплёт окна, а соседка-молодуха, испуганно оглянувшись на стук, стыдливо прикрывается мочалкою и кричит, потрясая кулаком: «Ах ты, озорь! Ах ты, нечистая сила!.. Вот уж станется тебе на орехи... Чего он надумал, стоеросовый». Наверяд ли бабёха разглядела меня в мути стекла (иначе бы она нажалилась моей Марьюшке), но я-то несколько дней смотрел на молодуху уже иным, приметчивым взглядом, словно бы заимел на женщину хозяйские права, пока-то сутолока будней не попритушила детское впечатление, под кое, наверное, попадал почти каждый деревенский парнишка, терзаемый плотским любопытством... Как давно это было, кажется, и стёрлась из памяти детская банная картинка, как житейский сор, а она вот, оказывается, присыпанная прахом дней, благополучно покоилась в сундучке нажитых впечатлений, дожидаясь своего часа...

Я ещё помедлил за берёзами, оглядываясь, не застал ли кто меня за худым делом, и нарочито бухая ботинками, чтобы выпугать ретивых бабёнок, взошёл на скрипучие плахи, временно брошенные к бане вместо крыльца. Дверь была щелястая, плохо сбитая, из сенец выбивался на волю сизый парок, и в том месте narосли желтоватые бороздки куржака. Я ещё не поступался, как из предбанника донёлся глуховатый напуганный голос:

– Ой, Шура, на улице кто-то ходит... Не медведь ли?

– Вядмедь, Нинка, ходит! Он, он, миленький! – вскрикнула Шура и залилась весёлым смехом. – Иди ко мне скорее, миленький вядмедь... Не могу я, боля, без тебя тярпеть...

– Ты вот шутишь, Шура, а я боюсь... Запри на заложку... Время такое лихое. Вдруг кто чужой? Не отбиться ведь... И Фёдор куда-то пропал. И неуж в пьянку ударился?

– Ну и чужак, так что? А ты не отбивайся. Ляг поскладнее да глаза закрой... От тебя не убудет. Баба – не лужа, хватит и для мужа. Вядмедь-то понюхает тебя, плюнет да и прочь... Скажет, на кой мне сдалась этакая

вонючка... Эй, кто там? Фёдор, это ты? Не шути так... У меня ведь топор-самосек под рукою.

Смешливость в голосе легко сменилась досадой и раздражением. Деваться мне было некуда, и я, надав в дверь плечом, решительно переступил порог.

– Бабоньки, много ли вас, да не надо ли нас? – закричал я, пытаюсь сразу схватить верный шутейный тон.

– Ой, Дедушка Мороз! Ты подарки нам принёс? Что-то мешка за плечами не вижу. Не потерял ли, странничая по девкам? Раздарил, поди, всё... А заколел-то весь, бедный, и зубами стучит, как серый волк... Нинка, а ну раздевай гостя, сдирай с него шабаленки. Будем медосмотр проводить да на передовую забирать, – приказывала Шура подруге, не сводя с меня блестящих, словно бы покрытых глазурью глазёнок. Она стояла передо мною раскрытая, как кустодиевская купчиха перед зеркалом, вся малиновая от шеи до пят, босая на студёном полу, лишь легкомысленно принакрыв обводы широкой кормы махровым полотенишком. Две свечи тускло горели в стеклянных банках, захлёбываясь от нехватки воздуха, порою натужно замирали, готовые угаснуть. По бревенчатым стенам, пахнущим свежей смолкой, шевелились тени, на лавке стояла посуда с едою и питьем. Пахло отпотевшей сосной, вениками, пивом и распаренным бабьим телом. Подруга, застывшая в плывучих сумерках со стаканом в руке, будто застигнутая врасплох, уставилась на меня придиричиво, испытующе, как следователь при допросе: складная, длинноногая, на голове серые густые кудряшки папахой; женщина была в пляжном костюме и своим видом походила на пловчиху перед прыжком в воду. Насутулившись, любопытно взглядывая на меня, схлёбывала мелкими глотками пиво. Под пристрастным досмотром подруг я торопливо стал растелешиваться, стесняясь своего белого приоплывшего тела, по-бабьи поникшей груди, квёлых рук с вялыми ручейками вен и выпирающих из шкуры коленей, похожих на крохотные наковаленки. Я оглядывал себя придиричивыми глазами женщин и находил себя жалким старичком...

– А мужичок-то наш хоть куда... Смотри, Нинка, дедушко-то хоть куда. – Шура обошла меня вокруг, мимоходом пихнула выпуклым жарким бедром. – Нинусь, ты ведь любишь мякиньких-то?

– Мало ли кого я люблю... У меня муж есть, – застенчиво откликнулась подруга, скрывая в тени лицо.

– Муж обьелся груш... Не скромничай, давай. Паша, ты не смотри, что она такая тихуша... Главное – не теряйся. Бери в оборот, вытряхивай из ракушки. И увидишь, как из тихого омута черти полезут. – Шура бросила мне простыню и, словно бы невзначай, опять поддала мне бедром. – Вот я, например, вся тут... Цвету и пахну... Как утренняя роза... на морозе.

Я покачнулся, но устоял, невольно опершись о стену. И, не соображая, что делаю, лишь по какому-то тайному согласию меж нами, шлёпнул хозяйку по стегнам.

– Но-но, – сурово остерегла Шура. – Не балуй, Дедушко Мороз... Ведь подарков не принёс? А теперь одёрни меня, а то больше замуж не выйду...

Я поддёрнул за махровое полотенце, и оно едва не свалилось с лядвий.

Это был намёк? Иль только показалось? Но ведь Шура ни разу не вспомнила о Зулусе, словно бы они расстались навсегда, иль меж ними перед баней состоялся тайный сговор на ящик шампанского, и теперь перелестница с явной усмешкою, играя чарами, обхаживала меня. Подала стакан пива, хребтинку копчёного леща в веснушках острого клецка, плотно уселась на лавку, широко разоставя ноги, как бы нарочито распалья меня. Свеча в склянице то замирала, то вспыхивала вновь, будто стояла на ветру, выхватывала из полумрака меж нами то сочные полураскрытые губы с ядрышками зубов, то голубые слюдяные глаза, утонувшие в обочьях, то кустышки светлых бровок с капельками пота, то густой жгут волос на затылке, стянутый аптечной резинкой... Тени от свечи метались по предбаннику, особым образом выпячивая иль затушевывая лицо женщины, причудливо вылепливая то облик обавницы-временницы, то развязной бабёхи в годах, то девицы на выданьи, засидевшейся в девках и сейчас томящейся по ухажёру. Смётываясь в мыслях друг к другу, мы на мгновение забыли про подругу, томящуюся на лавке напротив.

– За что пить-то будем? – строго спросила Нина, напоминая о себе.

– Я пью только за любовь... Любовь – она сильнее медведя, – сказала Шура.

– Нет, девушка... Сильная любовь бывает только в сказках, – грустно поправила Нина. – А в жизни, как приведётся. Как Бог даст... То за козла угодишь, то за зайца.

– Ага, кто бы говорил. Смешная ты, Нинка... Что, опять разводиться решила? Теперь ищи птичьей породы человека, чтобы в пару по небу летать. Вот там тебе и будет сказка. – По разговору я понял, что верховодила хозяйка; она въедливо цеплялась за каждое слово, подкусывала вероломно и постоянно норовила выставить подругу в порченном виде. – Милая, думать надо, когда замуж пехаешься. Читать-то умеешь? Вот, Пашенька... Была моя Нинка в невестах Комаровой, пригласила меня тамадой на свадьбу. Пропили девку, стала Таракановой. Через пять лет звонит: «Шура, я развелась и снова выхожу замуж». Ну, пропили мы бабу. Была Тараканова, стала Блохина. Через пять лет снова звонит, зовёт в тамады. Спрашиваю: опять букашкина фамилия? – «Да нет, – говорит, – была Блохина, стала Мамонтова»... Так, Паша, судьба играет с человеком, а человек играет на трубе...

– Вот скажи, какие тебе женщины больше нравятся? – спросила Шура напористо. – Худенькие или толстые?

– Всякие... – без раздумий признался я и, может, для себя открыл правду, потому что по сердцу мне порою бывали всякие девицы, что случайно оказывались возле и давали благосклонный сигнал; де, фарватер свободен, и можешь, дружок, причаливать.

– Значит, у тебя хороший вкус, и ты здоровый неистраченный человек... Это больные всё чего-то ищут... Калибруют, примеряют, чтобы не заразиться, не подавиться. С той – страшно, с этой – шумно... А здоровые мужики они, как щуки. На любую рыбку кидаются. Ой, как жаль, что я занята. Вот бы чуть пораньше. Я бы вас полю-би-ла-а, – шумно вздохнула Шура, так что едва не загасила свечу, встала и потянулась просторным, туго сбитым телом, с хрустом вздела к потолку руки, словно бы всю себя, без потайки, заявляла на подиуме перед штудией. И так замерла. – Пропадает девка, пропадает ни за понюшку табачку... Была бы свободна, я бы тебя, Паша, не отпустила. Я бы тебя, Паша, гам – и скушала бы. Ха-ха-ха! – Шура хищно клацнула зубешками и облизала губы.

– Ну, так кто же из нас щука? Хотя я согласен быть плотвичкой. Такие милые губки. Начнете с головы иль с хвоста? Иль сразу целиком?

– Не обижайтесь вы на Шуру. Она плохого вам не хочет. Она любит шутить, – извиняясь за подругу, испуганно вмешалась Нина. У неё был суроватый, но приятный голос. Нина так и сидела, сутулясь, принакрытая банными сумерками, как кисейной фатой, и словно бы пряталась от нас. Горячий лепесток свечи трепетно изгибался в склянке, и в лад ему шевелилась огромная синяя тень, всплывая на потолок. – Шура, не шути так, не будь дурой. Что товарищ подумает...

– Мамонтова, я не шучу. Рыбонька моя, шутя можно родить и грешить, но любить надо взаболь... Полюбить – это с избы прыгнуть голой задницей на борону. Хоть раз пробовала? Это очень больно... А грех, как орех: раскусил, да сладкое ядрышко в рот... Разжевал – и айн, цвай, драй... Ты вот, подружка моя, была Блохина, а стала вдруг Мамонтова. Это и есть шутка...

«Из неё бы вышла прекрасная натурщица, – вдруг подумал я, не зная, куда отвести взгляд, ибо как бы ни прятал глаза, они постоянно утыкались в прелестницу-обавницу, нащупывая всё новые подробности. – Настоящая русская баба-рожаница из былинного эпоса... Только смотреть и то удовольствие для художника, и это чувство природной цельности невольно переключает в рисунок... Нет, её надо рисовать маслом в тёплых тонах. Что-то подобное есть у Пластова... Баня, лёгкий снежок, обнажённая молодуха с ребёнком... Там трепетное, душевное, а тут плоть дышит... Ну ладно, я не художник, но пока живой же человек!? Или умер давно и уже труп околетый? Почему так вольно, так игриво Шура ведёт себя передо мною с первой минуты, словно бы я нечаянно огрубился когда иль обидел и тем невольно провинился перед женщиной, или многого наобещал, а после обманул, оставил на бобах? И Зулус где-то пропал, замёрз на дороге, превратился в култыху».

Я вдруг загрустил, понимая умом, что угодил на чужой пир, где всё дружественно слилось по чувствам, разумно и цельно, и случайный гость – лишь соглядатай со стороны, которому достанутся только хлебные крошки от сытого бранного стола, но ни капли мёда не прольётся из

любовной братины. С улицы через порог тайно вползали хвосты мороза, кусали босые ноги, взбирались по укроминам тела, как по корявой елине, выстуживая меня всего; да и от холодного пива, которое я через силу тянул сквозь зубы, каждая жилка внутри заливалась, закупоривала кровь. Томясь, я невольно вздрогнул, перебрал плечами. Шура уловила мои муки, воскликнула:

– Дедушко-то у нас совсем заоченел... Нина, возьми дедушку за бороду, отведи на полок, да наподдавай веником. Скажут, позвали человека в баню – и уморили.

– Отстань. Тебе бы всё посмехушечки... – Нина скрылась в бане, слышно было, как брякает ковшом, тазами, замачивает веники, скидывает воду на шипучие камни, нагоняя пар. Мы дожидались её приглашения, как заговорщики, в полном молчании. Появилась из мыльни пунцовая, нажаренная, как будто только что слезла с полатей.

– Подите... – буркнула, не глядя на нас. – Всё готово...

– Умничка ты моя, мамонтиха. Как бы я жила без тебя. – Шура допила пиво, обсмоктала и отодрала с зубов прилипшее лещевое перо. – Оставь простынь-то, – приказала резко.

Женщина вела себя со мною, как с недогадливым малышом, а я отчего-то покорно слушался её, открыв рот.

Баня обволокла нас сухим жаром. Шура без стеснения скинула полотенешко и, сверкая ягодицами, полезла на полок, разметалась по полатам вольно, не скрывая прелестей. Груды маленькие, как два куличика, просторный живот, будто вертолётная площадка, ждущая приземления, с рыжим завиточком пупка, мелкая кунья шёрстка, тугие бедра. Вся сбита туго, добрый каталь валял: ткни пальцем – и сломается палец... Расправляя, растрясая, кружа распаренным веником над головою, я обшарил женщину взглядом: от плотной коротковатой шеи, крохотных ушей с бирюзовыми серёжками до узких бледно-розовых ступней. Свет от свечи, отражаясь от потолка, странно переливался в глазах, и они казались переполненными слезою. Шура не торопила меня, не манерничала, но безмятежно отдавалась посмотрению, наверное, понимала свою бабью власть. Кожа на груди и впалом животе была атласная, без червивинки и изъяна, и, когда я, слегка касаясь жаркими листьями, провёл берёзовым веником, по ней прокатилась ознобная дрожь. Шура невольно вздрогнула и от внутреннего оха прикусила губу. И тут давай друг-веник лихо приплясывать по бабене, перебирать каждую мясинку, перетряхивать каждый мосолик, охаживать христовенькую, будто в пытошной, то розгами по жилам, то ожогом по мясам. Только ох да ох! Но терпи, сердешная, сладкую казнь. Когда с тебя, ещё живой, будто шкуру сымают, а ты вся светишься, и рожа улыбчивым заревом.

Парко было в бане, казалось, волосы потрескивают на голове; играло, колыбаясь от веника, пламя свечи, готовое умереть. В неверном переменчивом свете Шура была особенно, по-земному, притяглива и этими

промытыми изнутри бескучими глазами, и прикусом воспаленных губ, собранных в сердечко, и пламенем раскалившихся щек. Но эта безмятежность, эта наивность и доверчивость обезоруживали меня, ей-богу; и куда-то вдруг подевалось всё плотское, похотное, а невольное возбуждение так и осталось забытым в предбаннике. Здесь, на полатах, мы как бы похристосовались, стали будто брат с сестрою, самой близкой роднёю. Вот оно сладкое чувство родства, с каким ходили прежде русичи в баню всем семейством, не стыдясь, как Адам с Евой, ещё не познавшие греха; а если гость оказывался в доме, то большуха-хозяйка провожала гостя в мыленку и веником сгоняла усталость от долгой дороги и ставила христовенького на ноги, нисколько не ведая дурного затмения в бабьей голове.

Потом и мой черёд пришёл всползать на полаты, и бабьи руки оказались куда прикладистей и ловчее, и я, поначалу смущаясь, незаметно отдался во власть незнакомой женщине, как родной Марьюшке в далёкую мою бытность, и снова почувствовал себя малеханным, ещё в предгорье грядущих лет, когда солнце для меня жило за деревенской околицей. Шура поддала свежего пару и принялась охаживать меня веником со всей страстью, пока не остались одни охвостья, потом окатила водою из таза. Я лишь мурлыкал, закрывши глаза и отдаваясь истоме, когда женские сильные руки ласково и вместе с тем небрежно выминали мои мяса, будто тестяной ком для формы, вынимали из меня усталость и необъяснимую долгую печаль, и каждая выпаренная, измягчившаяся жилочка и хрящик так ловко вспрыгнули на своё место и теперь согласно подгуживали в лад хитровану-баннушке, затаившемуся иль в запечье, иль под полком в пахучих потёмках, иль на подволоке за дымницей. Тут он всегда пасёт, лишь глаз надо иметь особенный – зоркий и любовный, чтобы разглядеть старичонку, окутанного длинной ветхой бородою. Только он, верный хозяйнушко, настраивает христовеньких на тихомирное мытьё, выкуривает из сердца, хоть на короткий час, всю скопленную жёсточь и мирские досады. А Шура, зная, жила ладом с баннушкой, охотно привечала дедушку, не шумела, вела смиренно, никогда не оставляла без привета и гостинца, потому и в новую баню заманила хозяйнушку. «Ой, удалась баня-то!» – запела у меня душа, и в глазах вспыхнула искра. Что-то огненное, опасное для себя почуяла Шура и решительно отстранилась... Я едва скатился с полатей, сел на низенькую скамеечку, отдуваясь и хлюпая горлом. От пола блаженно потягивало холодком.

– Ну всё, ухряпалась тут с тобою. Паша, скажи хоть спасибо-то, – размягченно, полушёпотом протянула Шура, окатилась водою и встала передо мною, уперев руки в боки, как на посмотрение. Ну воистину – русская матрёшка.

– Спасибо, Шурочка... Утешила! – Я торопливо отвёл загоревшийся взгляд, чтобы не раскопегариться дурью и не выдать себя, ведь только подумаешь о скромном, так тут и закипит в жилах кровь. И, ополоснувшись, поспешил из парилки, чтоб от греха подальше...

– Одним спасибом не отделаешься, – крикнула Шура вдогон.

– Живой разве? – удивлённо спросила подруга. – А я думала всё... Пропал гость.

Я не успел ответить, дверь решительно отпахнулась, в предбанник вошло морозное колючее облако.

– Федя, Федя съел медведя... Ты, Феденька куда пропал? – Нина вся зазияла, и голосок-то у неё потонел, стал медовым. – Мы уж тебя искать срядились...

– Вижу, как ищите, – Фёдор метнул на меня пронзительный взгляд. – Как баня, Павел Петрович?

– Баня – во! – я показал большой палец.

Рожая моя, наверное, лоснилась по-котовьи, потому что Зулус только крикнул и стал торопливо раздеваться: высокий, плечистый, грудастый, ястребиный взгляд из-под седых ершистых бровей, седые усы пиками. Ну как такого жеребца стоялого не любить? Да тут любая баба упадёт. А снежно-белый чуб лишь придавал мужику фанфаронисто-чванливый вид. «Эх, мне бы такие стати, да я бы... – я невольно позавидовал и сам над собою рассмеялся... Эх ты, мышшь крупяная, норушка домовая; кабы не горы да не долины...»

Появилась из мыльни Шура, обвитая по самую шею простынёю, зная услышала резкий голос Фёдора и решила не нарываться на грозу. Ей было тесно, неловко в липких пеленах, словно бы на вольную женщину натянули смирительную рубаху. Это кремень и кресало сошлись в предбаннике, и сейчас в любую минуту высечется искра, и химера счастья взорвётся и уйдёт в дым.

– Вижу, без меня хорошо устроились? – ревниво намекнул Зулус.

– Дольше бы шлялся...

– А ты не рычи. Значит, дела были... Попаришь? – Зулус властно пригнул Шуру за плечо, но та ловко выскользнула, заголилось округлое малиновое плечо.

– Обойдётся, милый, своими силами... Раз меня на рюмку променял.

– Даже так? Что-то не пойму. – Фёдор в три глотка опустошил стакан пива, зубами привычно, хищно отодрал от леща вяленой солонинки, седые жёсткие усы вздёрнулись, готовые намертво пронзить бабье уросливое сердце. – Ну смотри, тебе жить... Нинка, а ты готова?

– Феденька, да я, как прикажешь... А хозяйку – не трожь. Бедная, и так вся замылилась.

– Дура, Нинка... Откуда мыло-то? – огрызнулась Шура. – Я что тебе – кобыла? Чтоб до мыла... Ступай, ступай, отбивай у подруги мужика, блоха кусучая... Может, что и склеится.

– Шурочка, милая, да что с тобой? Иль взаболь на худое подумала? Ведь я замужем... Может, я что-то не по уму сказала? Так прости, пожалуйста. – Нина в искреннем испуге и удивлении округлила сорочьё глаза.

– Брось, Нинка... Баба не лужа, хватит и на татарскую орду. – Шура засмеялась, шлёпнула товарку по заду. – Иди, вздрючь жеребца, чтобы шкварчал, как карась на сковороде...

Подруга покорно кивнула, натянула овчинную шапёнку с кожаным верхом, одела на руки брезентовые верхонки и скрылась в парильне. Скоро оттуда раздался гогот, гиканье, шипенье воды, кинутой на раскалённые камни, хлёсткие удары веником...

– Глубже, глубже, глубже, ой хорошо! – хрипло, выкручивая голосом загогулины, причитал Зулус. – Ниже, ниже, ниже, ой хорошо! Нинка, стерва, наддай, ещё наддай! – Знал варнак, что его хорошо слышно в предбаннике, и сейчас играл на сердечных струнах.

Шура загрустила, глядя в банное оконце, искрящееся от луны, на узорную оторочку подтаявшего куржака. Она попала в затенье и сейчас, приоткрытая простынёю, походила на языческую бабу, высеченную из голубовато-розового мрамора, одиноко стоящую на веретёе. А может, настроив крохотное ушко в сторону двери, прислушивалась к разгулу, что творился сейчас в мыльне, и рисовала воображением самые прихотливые любово-страстные картины? Уставясь в морозную лесную ночь, вдруг тихо попросила меня:

– Паша, Мамонтиха ведь дура... Убьёт его. Ты сходи, посмотри, как он? У него ведь сердце шалит.

Тут выскочил из парильни Зулус, не прикрывая мошны, просквозил предбанник, отпахнул дверь и с головою нырнул в разворошенный бабамисугроб. Вернулся уже медленной тяжёлой ступью, с ворохами снега на плечах, печатая шаг, словно нёс в себе сосуд с драгоценной влагою и боялся расплескать её.

– Десяток лет долой... Ещё две ходки сделаю и запою: «А Федька такой молодой...». Шурочка, ты чего скисла? – Прислонился к женщине, потёрся мохнатой грудью о покатоё плечо. Шура не отстранилась, но и не подалась навстречу, не отвечая, упорно смотрела в стеклинку, за которой на сахаристом снежном отроге лежал тёплый лафточок света. Моргасик догорал на дне банки, уже едва дышал. Фёдор, не дождавшись ласкового слова, оттолкнул Шуру, сплюнул и исчез в парилке. Тут же появилась Нина, наматывая на голове чалму, сказала кротко:

– Шура, как хочешь... А я сдаю полномочия. Федька твой опять задурил...

– А я что могу, если он дурилка? – со слезой в голосе протянула Шура. – Я что ему – жена, чтоб на плечах тягать? У него своя, законная есть, пусть и волочит... Мамонтиха, плюнь на всё... Давай напьемся и разбежимся, как в море корабли.

– А что мне муж скажет?

– Он кто тебе, судья или президент? Президент – чужой разведки резидент. Сегодня – здравствуй, а завтра – до свиданья... Судить никто не будет, без суда посадят. И там живут... А Путина не до тебя, он чеченов в сортирах

мочит и девок на лопатки кладёт. Да и на кой тебе муж? Только свистни, в очередь кобели встанут...

Я не стал дослушивать перепалку, кой-как натянул одежонку на мокрое тело и вышел на волю.

* * *

Луна одним рогом зацепилась за чёрный елиник, и уснувший мир походил на театральную декорацию. Вверху было торжественно и чинно, серафимы и херувимы выпевали благодные псалмы, а суровые архангелы подглядывали из-за тяжёлых бархатных занавесей, чтобы на уснувшей земле под благие песнопения не затеялось дурнины. А внизу было мозгло, зябко, и праздничное настроение, едва коснувшись моей вострепнувшейся души, тут же сгасло, как огарыш сальной свечи. Мне бы сейчас на боковую, да признать смиренно, что подушка – лучшая подружка, а я вот в нерешительности топтался на тропе и чего-то сгадывал, тянул время. Конечно, дорога в деревню не манила, и хваткий мороз, когда из тепла да на улку, пугал, он сразу занырнул под мою подергушку, спутал инеем бородёнку, освинцовил ресницы и одел в изморось брови, отчего я как бы приослеп. «Помылся, милый, и будь благодарен, – грустно сказал я себе. – А теперь ступай себе на ночевую, только не вторгайся в чужую жизнь, где и без тебя не всё ладно». Но баня отчего-то казалась незавершённой, словно бы обещивалось поначалу куда больше, и на это большее настроена была душа, но вдруг всё оборвалось в самом зачине праздника и не случилось той изюминки, когда обычная житейская история навсегда поселяется в памяти... Но что мне ещё-то надо, что-о? Каких таких сладких коврижек насылил мне Зулус, что я вдруг воспарил умом и размечтался, наивный. Ведь не загульный же я человек и не петух, не забияка и не волокита, кто из всякой встречи со случайной бабёхой ищет себе весь букет приключений.

Кого винить, что ты постыга и неуживчивый байбак? На кого складывать свои неудачи? На мать, что родила сколотного, иль на отца, что сгинул неведь где?

Нет смысла на ближних стучать Господу и жаловаться на свою судьбиночку, ибо Милостивый всё видит, над каждым печётся, и все наши земные страсти – это и Его страсти, ибо протекают сквозь Него и скручивают нас земных с небесным Синклитом в нерасторжимый узел. И все неизживаемые нами страсти уже давно испытаны Им, и вся кручина выпадает лишь по делам нашим, ибо только бездельный человек впадает от бессмысленных мечтаний в тоску и прозябание...

Конечно, конец – всякому делу венец...

Я оглянулся, слабый свет едва угадывался за оконцем, там хихикали бабы, подвизгивали по-кошачьи, знать, за стенами снова состроился лад,

и сердце согласно прильнуло к сердцу, откинув пустяшные недомолвки, но уже без меня. Я оказался той дворовой собакой, которой из жалости кинули кость. Смех в предбаннике неожиданно обидел и унизил меня; я, дурень, уже сочинил историю с продолжением, а она оказалась химерой.

Я решительно шагнул к дороге, но тут дверь за спиною со скрипом отпахнулась.

– Дедушко Мороз, ты ещё здесь? – с удивлением воскликнула Шура. – Я думала, хоть ты-то настоящий мужчинка. Уже чайник поставил, бутылочку открыл, селёдочку с лучком нарезал... Нинка, значит, мы не понравились московскому гостю. Он хотел от нас сбежать. Паша, ты вправду хотел оставить бедных девочек? Соблазнил и бросил. Ай-яй-яй! Вот и верь после этого мужикам. Все скотины!

Никого не хочу знать, ни-ко-го! Всех в тарта-ра-ры...

– Ой, Шура, это же так глубоко. Может, не надо? Хоть Пашу оставим...

– Пашу мы для себя оставим. Куда его, хроменького, в такую даль пеши отправлять... Лучше заморозим глубокой заморозкой и будем откалывать по кусочку, как сахар рафинад, – согласилась Шура и засмеялась. – Напугали дедушку. Нинка, давай присвоим дедушке звание генерала и поставим при доме швейцаром. У нас будет свой генерал... Под красным фонарём.

– А Федю куда? – пожалела Нина Зулуса.

– Возьми себе... При нужде согдится. Будет деньги в дом приносить. Ты баба смиренная, тельная... А можно и к нам – зазывалой. Слушай, Мамонт, давай устроим в Жабках бардак? Первый в России деревенский бардак у Тюрвищей. Тебя мамкой назначим. Премияльные будешь получать, мужа кормить...

– У тебя, Шура, язык без костей... Ты совсем распоясалась на людях.

– А у тебя что, с костями?... Ой, Нинка, рассмешила! – Шура залилась высоким смехом. – Ой, девки, держите меня, сейчас рожу чумазого! Паду в снег и рожу! – Шура несла околесицу, а я отчего-то не обижался: звонкий голос её был налит неистребимой силой и властью и подчинял себе. В нём не было того усталого дребезга и скрипа от житейских неудач, который я уже привык слышать в городах. Это был безунывный голос жизнерадостного человека. Я был благодарен, что она не бросила меня на росстани, но так ловко, без натуги, пригласила к себе, будто между прочим протянула мне руку, когда я утопал в растерянности, и выдернула на твёрдую тропу. Мне не пришлось искривляться, потому что я в одну минуту стал своим в этой компании человеком.

– Фёдор-то где? – спросил я с чувством непонятной вины, словно бы уже прогнал мужика из родовой избы и заселился сам. – Не угорит в бане?

– Придёт... Никуда не денется, – равнодушно бросила Шура, поднимаясь на уже знакомое мне скрипучее крыльцо. Принагнулась, обмахивая голышом белые чесанки, невольно растопырилась передо мною. И откуда-то шаловливое в голове: «Вот где мамонтиха-то: не обойти, не объехать».

И вдруг захотелось игриво шлёпнуть по крупу, обтянутому мохровым халатом... Так похлопывают породистую кобылицу после ездки, восхищаясь ею.

«Постыдись, милый друг, ты вроде бы московский господин, а мысли у тебя охальные, как у работника скотобазы», – укорила меня душа. Но я тут же оправдался перед нею: «Ну и что с того?.. Разве я не мужик? Иль всё так отсохло у меня, отвалилось, посунулось к земле, что и краном не вздынуть?..»

Я торопливо забежал вперёд, ловко открыл дверь перед женщинами. Подумал: «Эх, сюда бы господина Фарафонова. Юрий Константинович научил бы, как жить. Женщины любят хватких, у кого слово слетает с губ легко, словно шелуха от семечек. Слово не должно висеть на языке свинцовой каплей, чтобы все смотрели тебе в рот в мрачном ожидании, когда оно свалится. Оно должно быть в меру медовым, но и солоноватым, крутоватым и нахальным, слегка присыпанным перчиком. С бабами надо уметь разговаривать: вроде бы ты угодник и подпятник и каждое женское желание ловишь на лету, но вместе с тем и хозяин и, когда понадобится, постоишь на своём. Они тогда легко теряются, у них витает сладкий туман в голове... Да-да, братец мой, вскружить голову женщине – это целое искусство, а в нём я всегда был слабоват. Ведь у неё все внутренние протоки, непонятным образом минуя полушария, закольцованы на уши, и всякое взбалмошное, любовное, напористое или похотное слово легко растворяется в крови, струит по всему телу и ярит, разжигает его...»

– Спасибо, дедушко. Какой галантный кавалер, – сказала Шура, протикиваясь в филёнчатую дверь. Проём был выпилен не для кустодиевской женщины. Проходя, она неволью (а может, и понарошке?) прильнула ко мне, и сквозь влажный халат, под которым не было белья, я почувствовал горячее, словно сбитое молотами, молодое тело. Наши глаза на миг оказались вровень, меня опажнуло баней и вроде бы молоком, хотя все мы угощались пивом. Шура так приманчиво посмотрела на меня, что мне нестерпимо захотелось обнять ее. «Господи, но не на людях же? Не совсем же ты сбился с пути?» – окоротил я себя... Нина была повыше подруги, потупив глаза, будто стесняясь, что мешает людям, пугливо проскользнула мимо, как огородная изумрудная ящерка, даже не коснувшись моей руки.

Дом был ещё не доведён до ума: и потолок есть, и крыша, но нет пока того жилого духа, который поселяется в обжитых комнатах. Хозяевал пока лишь плотник с топором и долотом, а для женской руки еще не пришло время. Только низ был заселён на скорую руку, по-кочевому, когда вместо лавок или стульев – доска на двух чурбанах, стол сбит из двух тесин, и вместо «голландки» или камина торчит в углу садовая чугунная печка.

Я опустился в изрядно потёртое креслице еще хрущёвской поры. Шура не долго пропадала в соседней боковушке, появилась оттуда светской дамой в фиолетовом платье по щиколотки с чёрными атласными бейками по подолу, с широким кружевным распахом на груди, с тяжёлым колтухом

хитро собранных на затылке волос. Надо лбом тонкие волосы были стянуты так туго, что даже просвечивала белая кожа.

«Эх, кабы молодость умела, да старость бы могла», – с завистью подумал я, прилипчивым взглядом озирая хозяйку. Шура прочитала мои мысли, и без того яркий румянец на тугих щеках стал ещё гуще, будто под гладкую кожу впрыснули клюквенного морса.

– Чего так смотришь, понравилась, что ли? – спросила с вызовом и поправила под горлом золотой медальончик.

– Как так?

– Ну, будто съесть хочешь... Смешные вы, мужики. У вас, у мужиков, кобелиные повадки. Баба для вас, что костомеха для собаки.

– А что... И съел бы, – храбро признался я. – Только боюсь, не проглотить, подавлюсь. Да и Фёдор не отдаст... (Оказывается, наука Фарафонова не пропала даром.) Я нарочито облизнулся, и Шура рассмеялась звонко, запрокидывая голову.

– Что мне Фёдор... Я сама по себе гуляю.

Тут кто-то слепо заскрёбся в дверь, будто был пьян. Явился Зулус в одних трусах, грудь багровым колесом, кожа бугрилась, переливалась, словно бегали под ней зверушки, играли в догонялки. Видно было, что Федор крепко нравился сам себе, потому и пыжился руками, втягивал живот, ещё не поеденный старческой молью. В глазах у Шурочки я прочитал восхищение: не дав и слова сказать, она, как тигрица, вызываяще плотно, хищно прильнула к мужику и припечатала в щеку звонкий поцелуй, будто взорвалась новогодняя петарда. Зулус хотел поймать её губы, но Шура извернулась, поставила печать на другую щеку. Конечно, Зулус был куда вкуснее меня; у него кисет до колен и грудь наковальной, есть куда прислонить женщине голову. Я смеялся сам над собою, пустея и скоро остывая изнутри. Сейчас в Шурочке мне ничто не напоминало распаренную кустодиевскую купчиху у самовара; обычная наглая, раскормленная сытыми харчами баба, ловко вписавшаяся в антисистему. Разуй глаза, Паша, что же ты, как голь кабацкая, всюду шибаешь жалкие крохи и снова раззявился на чужое. Небось, и муж у неё есть, и дети, а она тут жирует, царица Тюрвищей, сычиха на пеньке...

– Оделся бы, всё ведь выпадет, – подсказала Шура Зулусу, ревниво взглядывая то на подругу, то на меня. Но Нина навряд ли что замечала вокруг, не теряя времени, деловито пластала кольцами колбасу, снимала шкуру с селедки, сдирала с баночек и скляночек крышки, выкладывала на тарелки уже готовые закуски.

– Если что выпадет, подберёте. А нет, так собакам на поедь сгодится, – намекнул Зулус, жёстко обкусывая слова. Фёдор сидел, набычась, широко разоставя колени, густая седая шерсть, как у кабана, росла на груди кругованами. Налил сам себе стопку и, не чинясь, выпил наодинку, крикнул.

– Подождал бы всех, – сказала Шура, – ещё успеешь нализаться.

– Нагоните... Ну как тебе дом показался?

– Хороший дом, – похвалил я, хотя ещё не успел толком рассмотреть его.
– И место замечательное. Век бы здесь жил... Тишина, покой. – Я споткнулся, не зная о чем дальше говорить.

– А чьи руки? – хвастливо протянул Зулус. – Мои – и... Из дерьма конфетку сделают. – Он пошевелил дресвяной жёсткости пальцами, пристально разглядывая слоистые ногти, заусенцы и ссадины, порезы и ушибы, словно впервые в такой близости увидел их. – Досталось им, да-а... Без труда не выймешь и рыбки...

– А деньги чьи? – перебила Шура. – Забыл, чьи деньги? Ладно бы даром. Я баба, а как жучка, кручуся тут, убиваюся на трех работах...

– Значит, так положено, если тебе так надо. – Ты, Шурка, успокойся. Что деньги, деньги – бумага, только на растопку... А отстроишься – дом будет свой. Станешь мужиков водить, детей стряпать, пироги печь... Опять же кладбище бесплатное недалеко. – Зулус снова налил стопку и торопливо выпил, словно кто подгонял. – Правда, потом не продать будет, и никто у тебя не купит. Только министр если, а он не поедет. В деревне ни у кого таких больших денег нету, никто не даст. Ну, от силы – пятьсот баксов...

– Не каркай... Не для того я строила, чтобы продавать...

– Не нам знать, Шурка, как всё ещё обернётся. Может, и даром придётся отдать. Спросят, откуль денежки? И не отвертеться, – зачем-то дожимал подругу Зулус, ехидно вкручивался клещём в болявое место, чтобы засесть там. – А ты вон ещё и баню поставила. Она тебе во что обошлась?

– В тыщи полторы вышла...

– И не рублей ведь, зелёными... А мне даром стала. Пошёл, лесу наваял и сам срубил.

– А труд свой не считаешь?

– Так мой труд ничего не стоит...

– И не скажи. Вы его нынче дорого цените... За копейку не плюнете. Встал – рубль, нагнулся – два. С тысячей к вам и не сунься, уже не деньги. Паша, никогда не вздумай строиться. Обдерут, как липку. Понадоблюсь, приходи ко мне за советом, даром дам... – Шура вдруг снова вспомнила меня, забытого, и пригласила в союзники.

– Ага, уже слиплись. Значит, даром, говоришь? Ну-ну, – дерзко засмеялся Зулус и вдруг нагло прихватил Шуру за подол, пытаясь задрать платье на лядвии, заголить ноги и заглянуть в скрытню. – Ты Пашки-то бойся, заклюёт. За ним смерть ходят. За кем дом опосля оставишь... Подумала?

– Убери руки-то, идиот, – вспыхнула хозяйка, но тут же сбавила тон, с трудом выдирая платье из клещей. – Ну, Федя, уймись, дорогой, добром тебя прошу. Уже набрался... Чего на пустое мелешь? Не порть праздника. Так хотела после баньки во спокойе посидеть, чтобы никто не шумел. В какие поры ещё случится, чтобы гость московский... профессор к нам. Когда ещё приведётся с таким человеком рядом побыть? Не хухры-мухры...

Ну, Феденька, возьми себя в ум. Но сначала оденься...

Зулус послушно натянул на голое тело толстый свитер грубой вязки. Долго протискивал лохматую голову сквозь хомут ворота. Но когда пролез на белый свет и взглянул на народ, то лицо оказалось улыбочивым, тихомирным, а лоб приобрёл синюшный оттенок, и на щёки пала сизая поволока. Покорно прошёл за стол, опустился возле Нины, лихо оприходовал пару стопок, не закусывая, потянул было в рот щепоть квашеной капусты, не удержал в пальцах, смахнул со стола локтем на пол.

Шура нахмурилась, она сидела царственно, с прямой спиной, приоткинув назад тяжёлую породистую голову с русым хохлом волос, платье обливало могучий торс матроны, будто слилось с кожей. Пила она со вкусом и удовольствием, отхлёбывая мелкими глотками, как воду, не морщась, и в глубоких голубых глазах не отражалось муки. А обычная столовая гранёная рюмка в её пухлой белой ладони выглядела дорогим хрусталём.

– Не будь скотиною, Федя, – сказала Шура мягко.

Зулус не ответил. Он мрачно ухмылялся, отчего-то почасту кидая на меня непримиримый взгляд, словно бы я переступил дорогу, но открытой ссоры не затеивал, чего-то страшился, а может, искренне верил в свою придумку, что «за мною ходят смерть». Почему-то во мне Зулус отыскивал однажды кровного врага и с той поры держал скрытую дуэль. А может, я всё сочинил?

Вдруг жёстко притянул к себе Нину, шумно понюхал скуластую щеку и властно поцеловал. Нина глядела на нас покорливо, как овца на стрижке, и не смела перечить...

– Нинка, давай на брудершафт...

– Феденька, я не могу... Шура, скажи ему, что я не могу пить. Что мне муж скажет? – умоляющим голосом повторила она. – У меня и в горле першит... Наверное, ангина.

– А это мы сейчас проверим... Ты, дурочка, не бойся. От поцелуя не забрюхатеешь. – Зулус крюком руки закорил соседку, привлёк к себе, впился в губы. – Ой сладко, будто портвейн три семёрки... Так сладко ещё не пивал. И никакой тебе ангины. Ты ничего не бойся, Нинка, кроме спида. Спид – не спит! И на родном муже схватишь. Приедешь, доложишь ему: на заразу проверена.

Зулус тяжело встал, опустошил стакашек, обвёл стол бычьим бессмысленным взглядом, и нос вдруг налился свекольным цветом.

– Что-то, девки, на сон потянуло... А вы тут без меня ни-ни...

Федор погрозил пальцем, пошатываясь, побродил по комнате, сыскивая себе места, потом обрушился в углу на пол и испустил переливистую фистулу.

– Негодяй, какой праздник испортил, – с горечью протянула Шура.

Но никто не ответил ей, каждый уткнулся в свою тарелку, будто отыскивал в ней сладкий кусочек. Банный пар растворился, чувство полёта

пропало, и каждый из нас понимал, что если в эту минуту не встрепенуться, не двинуть сиденья в нужном направлении, то гнетая мигом напоит свинцом жилы, и тогда непреодолимая усталость овладеет телом и нестерпимо захочется на покой.

Радоваться бы надо, что Зулус благополучно отошёл ко сну, и сейчас гостевой корабль во все тяжкие пустится в весёлое плавание, и его не поглотит гневная пучина, а в конце пути найдётся тихое пристанище, где можно будет покойно приклонить уставшую от вина голову, и поутру, перебирая в памяти случившееся, не придётся стогать от стыда за всякие перехлёсты, что случаются по-обыкновеню с русским человеком во время азарта.

– Что загрустили?.. Мамонт, ты-то чего?.. – вдруг встрепенулась хозяйка, расправила на груди кружевной ворот, провела по волосам, будто сгоняла с них невидимый пух и прах, насорившийся с потолка. – Плакать здесь собрались? Павел Петрович, скажите нам что-нибудь интересное, чтобы Федька после обзавидовался. Он не понимает, деревня, с кем судьба свела... Ну и ладно, пусть спит. Проспится, может, человеком станет...

Я слушал хозяйку краем уха и никак не мог отвести взгляда от дальнего угла под порогом, где собравшись в корчужку, по-детски подобрав коленки под живот, безмятежно спал Зулус. Мне было жаль этого хозяйственного сильного мужика, подпавшего под новое горе, и как-то беспокоино от нежности своего положения и предчувствия близкой беды с кем-то из нас.

– Паша, что ты там потерял? Не обижайся на Фёдора: он грубый, но ребёнок. Дикой ребёнок... Федька неваляшка. Поваляется, встанет на ноги, и ничего с ним не случится. – Шура сняла с вешалки свой пятнистый бушлат, покрыла Зулуса с головою; из-под камуфляжа на белый свет заголились мозолистые твёрдые пятки. Сейчас Зулус напоминал убитого закованного солдата, которого ещё не разогнули, чтобы положить во гроб... Тьфу-тьфу, мысленно сплюнул я, и тут Фёдор громово всхрипнул. У меня отлегло от сердца, всё на душе встало на свои места, и я как-то лихо, необычно для себя, поднял стопарик и воскликнул:

– Выпьем за прекрасную половину человечества! Пусть она прилетела на землю откуда-то из неведомых космических пространств мужика обижать и держать в узде, но куда нам без неё? За женщин пью только стоя... – Я поднялся, склячил руку в локте, прижал к груди. – Милые вы мои, ну куда мы, мужики, без вас, Господи!.. С вами тяжело, а без вас – невозможно! – И залихватски, в один большой глоток, принял беленькой, что за мной не водилось прежде.

Водка пролилась внутрь без всякого ожога, и я даже недоуменно уставился в стакашек, словно бы туда для насмешки налили воды. Шура протянула мне на вилке звёнышко селёдки, и я, готовно подставив губы, послушно съел и опустился на лавку.

– Мамонт, а ты чего? Нас спить хочешь? Сейчас за шиворот вылью, – Шура грозно повела потемневшими глазами, будто приготовилась к казни.

– Шурочка, прости... Ты ведь меня знаешь...

– Знаю... Будешь, Нинка, выставляться, с работы выгоню. Поставлю помойки убирать... Нет, пожалуй, с Мамонтовым разведу, а отдам замуж за Вшивцева. Кочегаром работает при больнице. Будете шуровать... – Шурочка запрокинула голову и неестественно звонко залилась смехом, представляя непонятные для меня картины. – А мы с Павлом Петровичем выпьем... Ты, Паша, как к этому вопросу относишься?

– Плохо, – глупо улыбаясь, сказал я.

Нина не сводила с меня умоляющего взгляда, своей курчавой головою, кроткими серыми глазами она снова напомнила мне смиренную овечку, которую постоянно стригут, укладывая на бок.

– И я так себе... Но два отрицательных значения иногда, сливаясь в одно целое, становятся положительными... Минус на минус будет плюс. Ну что, на брудершафт? У тебя-то горло, надеюсь, не болит?

Я не успел ответить. Шура обречённо махнула рукою, уже легко, тало засмеялась, и как бы отринув все опасения, вступила на новый путь:

– А, одна помирать-то... Ты, Паша, не бойсь. Зараза к заразе не пристанет... – Оглянулась в сутемки в дальний угол, где похрапывал Зулус, и весело подковырнула. – А ты, Федька, там не подглядывай за нами, а то поперхнусь. Ты ведь любишь всякие штучки-дрючки. Я тебя знаю...

Шура, может, и догадывалась, что Зулус не спит, и ей хотелось подразнить любовника, дать ему розжига, чтобы кровь закипела.

И вдруг она решительно пересела ко мне на колени, приобняла рукою за шею, другую руку с рюмкою туго свила с моею, и мы согласно, дружно выпили, и губы потянулись к губам и долго не могли распрощаться, словно приклеенные, раскушывая сладость поцелуя. В углу сдавленно кашлянул Зулус, и Шура легко соскочила с моих колен:

– Теперь ты, Мамонт... С Федькой моим целовалась? Теперь давай почеломкайся с Павлом Петровичем... За дружбу. Чтобы все мы склеились и не разорвать бы нас вовеки...

– Шурочка, не приступай до меня. Ты ведь знаешь... У меня ангина.

– Ха-ха, детская болезнь левизны. А может, ты венера?..

– Да ты что, Шура...

– И пошутить нельзя... Хочешь рецепт? Даю бесплатно... Возьми лягушонка и дыши на него. Он сдохнет. Потом возьми в руки второго и дыши на него: он уползёт. Потом возьми третьего, подыши на него и отпусти. Он ускачет, а горло поправится... Вот и вся ангина. Если у тебя, подружка, действительно что-то с горлом. – Шура обвела застолье победным взглядом и хихикнула. – Правда, есть тут одна закорючка: где отловить трёх лягушат среди зимы... Ничего, Нинка, приедешь домой, попей тёплого молока с мёдом и в охалку к мужику, да чтоб погонял до поту... Да не красней ты, дура. Как же ты детей-то стряпала, слониха моя ненаглядная.

От бани и водки я неожиданно поплыл, расплавился, а душа превратилась

в солнечный слиток. Весь мир стал лучезарным, свойским, горячее женское бедро податливо притиралось к моему. Шурочкина ладонь, будто случайно, то и дело поглаживала моё колено, и я, готовый расплакаться от любви, не сводил своих глаз с медального профиля самой прекрасной из женщин. Я до того обнахалился и осмелел, не видя протеста, что положил руку на плечо хозяйки и задушевно, нараспев, прочитал:

– «Любите женщины меня сегодня; завтра будет поздно!..»

– Так вы, Павел Петрович, ещё и поэт? – спросила Нина, вспыхивая глазами, и от неожиданной смелости своей покраснела.

– Да нет... Это стихи поэта Устинова, – беззаботно признался я, вроде бы забыв снять руку с угревистого плеча Шурочки. Её тепло перетекало в меня, и сердце моё бежало вскачь. Я никогда не бывал так пьян, как нынче, и это новое для меня чувство оказалось неожиданно приятным. Мне казалось, что взгляд мой необычайно остёр, ум прозорлив, все счастливы и прекрасны, а я молод, красив и любим. В своей умиротворённости я невольно позабыл, что нахожусь в гостях, что женщина возле – чужая, и я вершу большой грех, играючи, с умыслом причаливая к ней.

Я сидел спиной к порогу и не чувял беды. У Нины лицо побелело, покрылось мукою, а глаза остекленели от ужаса. Она лишь обречённо, чуть слышно ойкнула:

– Ой!..

Я нехотя, непонятливо обернулся, упорно не желая выныривать из блаженного омута. Зулус подкрался на пальцах неслышно, как тёмная грозовая туча, заняв собою половину неба. Он тихо кренился надо мною, будто шатун-медведь, растопыря руки, возносил над головою бутылку. Прицеливаясь к моей макушке, Фёдор с таким ожесточением сжал зубы, что губы стянуло в голубую нитку, а седые усы по-котовьи встопорщило. Замысел мужика был очевиден, но я, глупо улыбаясь, и не пробовал защищаться, но мягко, жалостно смотрел в остекленелые от бешенства его глаза, словно бы пробуждал их для ответного чувства.

Я даже не успел испугаться: я каким-то звериным чутьём уже догадался, что Фёдор не ударит меня. Зулус швырнул бутылку с водкой в угол, где только что лежал сам, и стекло со звоном разлетелось по избе. Я также нелепо улыбался, не зная, что предпринять, как укротить буйство и всё свести к шутке. По меловому лицу, по застывшим глазам, по мелко дергающимся усам было видно, что Фёдора взял тот бессмысленный кураж, что овладевает неожиданно и глубоко обиженным человеком, и тогда он не ведаёт, что творит, потому что остаётся без ума, и его всего переполняет обида. Всякая мысль запала в голове без движения в душевной мгле, и эту запруду, вставшую в сердце, когда, кажется, вся кровь вскипела в венах и воздух перекрыло в лёгких, трудно раскупорить. В потасовке мужики обычно хватают буяна за шкиряку или двигают кулаком в челюсть, чтобы выбить пробку из человека и тем самым ввести его в рассудок. Но я же не тот хваткий

забияка-петух, что может кинуться, распуша крылья, я – московский интеллигент – уповаю лишь на слова, а слов таких на языке не находилось, а может, и не бывает в подобных случаях, и потому я продолжал жалко сидеть за столом с ватными ногами, презирая себя.

– Ты, скотина, что ты себе позволяешь!? – опомнясь, вскричала Шура и выступила в мою защиту; она легко выскочила из-за стола, будто её вынесло ветром, и бесстрашно, неуступчиво встала напротив Федора, лоб в лоб, широко разоставя могучие ноги и уперев руки в боки.

Зулус, как рассвирепевший бык, мгновенно позабыв меня, перевёл тупой взгляд на хозяйку:

– А ты – уличная дрянь!.. Потаскуха! – Зулус весь дрожал, как опоенный, на губах появилась пена, он не знал, куда девать руки, и эти чугунные кулаки не давали покоя, мельтешили перед лицом женщины, будто выискивали место для смертельного удара. – Уходите вон! Я говорю: уходите вон, не выводите меня из себя! – Зулус заскрипел зубами.

Он не пугал, он едва сдерживался, он боялся сам своего безудержного гнева. Голос его сдал, дрогнул, и Фёдор, отворачиваясь к ночному окну, протянул умоляюще, на пределе:

– Добром прошу: уходите. Последний раз прошу...

Вот этот тихий пресекающийся голос как знак неотвратимой беды и подвёл черту под посиделками. Мы потянулись к вешалке. Шура растерянно глядела вослед, как мы собираемся у порога, уводя в сторону взгляды. Её гостей выгоняли из её же дома, её силою лишали малой житейской радости, ею, свободной женщиной, оказывается, правили, как кобылою в оглоблях.

– Эх ты... Ещё называется мужик, – сказала Шура устало, сникло, сквозь близкую слезу. – Нина, Павел Петрович, пожалуйста, не уходите. Кто он мне? Да он никто мне. Так просто... Пришёл – ушёл... Это ты уходи к своей! Попользовался потаскухой, и хватит. – Шура тоскливо, как-то обречённо, прощаясь с туманными надеждами, засмеялась, обвела нас взглядом в поисках укрепы, будто в чём-то ободряла, убеждала нас, но и оправдывала себя. – Да ведь он мне никто-о! Он мне даже дров не может заготовить!

Это был главный довод, который в глазах Шурочки перевешивал всё, даже любовные чувства, чтобы позднее ни складывали на чашу добродетелей Зулуса.

Я вышел из дому потерянный, с каменным сердцем... Да и кто я, чтобы вмешиваться в чужую жизнь? – уговаривал я сам себя. – Не ухажёр, не брат – не сват, не соперник Зулусу, наобещавший барышне золотые горы... Да так, перекаати-поле, случайно зацепившееся за попутный древесный сучок и повисшее на нём до нового порыва ветра...

Луна скатилась за лес, березняк потерялся в темени. Нащупывая ногами тропу, вышли с Ниной на большую дорогу, где обочь стояла моя застывшая машинешка. Шумёл ельник под верховым ветром, в Жабках поскуливала озябшая собачонка, чуя лису-мышковку, скрадывающую в деревне последних

курей. Ночной воздух был кислый от стылости и не давал душе радости, не подбодрял сердце... И невольно подумалось: ну что я здесь торчу на чужбинке в раскоряку и некому-то меня подпереть. Дурак я дурак, хоть и «филлозоф». Решил ушицы похлебать из чужого случайного котла, а ложки не нашлось, и свою никто не поделился. Сейчас бы посвистывал в две ноздри у тётки Анны, угревшись на печи, и считывал бы с небосвода райские сны.

Но крест страстей я взвалил на горбину, и надо было покорно тащить его дальше безо всякой поблажки. Самое время молитовку прочитать Пресвятой Матушке, чтобы не осерчала. В темноте я едва нашарил скважину замка, пропехнул ключ и, мысленно причитывая «Мати пресвятая Богородица, помоги мне грешнаму, не оставь на грехи», выжимая сцепление, включил стартер. В утробе моей машинешки всё так забукосело, так скипелось от мороза, что, казалось, никакие небесные силы не смогли бы сейчас оживить грудю мёртвого старого железа. Внутри машины заскрежетало, завизжало, дважды с натугою кашлянуло и, выплюнув струю гари, безнадежно заглохло. Глубоко продавленное промёрзшее сидение прожигало снизу, и через копчик безжалостная калёная стрела сквозь черева и горло, казалось, доставала лысоватой макушки: волосы мои вздёрнулись от стужи, и даже шапка приподнялась. И только лоб мой удивительно взмок от пота. Я с огорчением взглянул в зеркало, увидел растерянные, умоляющие глаза Нины... Зачем-то женочонка прежде времени залезла в консервную банку, словно бы я мог уехать без неё.

– Я думала, что все «запорожцы» давно на свалке... Павел Петрович, вы действительно профессор?

– Кочегар, – буркнул я с раздражением. – Слушай, вылезай-ка вон, иначе всё заморозишь. – Мне надо было сосредоточиться каждой мышцею, слиться с омертвелой машиною и свой живой дух вдунуть в неё, но эта баба, дышащая мне в затылок, смотрела с укоризною и недоверием овечьими глазами и лишала воли. – Нина, побегай трускою по дороге, а то станешь инвалидом...

Женщина нехотя вылезла из машины и встала подле столбом.

– Она ещё умеет думать, – бормотал я, унимая дребезг внутри себя и собираясь в комок. – Мати Пресвятая Богородица, спасибо тебе, – прошептал я и провернул ключ... Мотор чихнул раз и два и смолк, а я ещё зачем-то лихорадочно сновал ногою, качая педаль газа, и вместе с тем обречённо думал, что делаю непоправимое – сейчас перелью бензина и дело – труба... Но тут в утробе машины что-то внезапно сдёрнулось, снялось с неведомого стопора, закашляло и забило в неистовой тряске, словно «запорожец» решил развалиться на куски, чтобы больше не мучить своего странного хозяина.

– Завёлся, миленький мой, завёлся, – шептал я, ещё не веря своему счастью. – Это Марьюшка помогла.

Прерывистый треск отразился от леса и по ледяной дороге покатился к деревне. Там залаяла собачонка, в крайней избе зажёгся мутный свет.

– Сейчас только ленивый без «жигулей», – нарушила молчание Нина, снова подобревшая ко мне. – Купили бы «бмв» или «ниссану»...

– А зачем? – машинально спросил я, с тревогой всматриваясь в берёзовый перелесок. – «Запорожец» – последний свидетель моего бывшего счастья и единственный родственник на всём белом свете. Доехать до деревни два раза в год хватает и его...

Мне казалось, что нам уже никогда не выбраться из этой западни, что она устроена не случайно, может, тут и сговор тайный есть, и весь сыр-бор – лишь прелюдия к драме; вот выскочит сейчас Фёдор с наточенным топором, отведёт в елушник, секанет по загривку как свидетеля... А потом ищи-свищи, когда у человека всё вокруг схвачено... И не милиция, не суд, не прокурор, но Зулус – истинный хозяин этой волости величиной с Бельгию.

Мое волнение невольно передалось и Нине:

– Что-то мне страшно стало. Как бы Фёдор не убил Шурочку. Он же бешеный, у него приступы...

– Не пугай...

– Ну да... Потом по судам затаскают... А что мне муж скажет? А ну как всё откроется... – Нина прикрыла рот варежкой, чтобы не застудить горла, и как бы выплевывала глухие тревожные слова, невольно заражая испугом и меня. Я с подозрением посмотрел на женщину, в её скуластое личико, разбежистые овечьи глаза, кудряшки над ушами, уже схваченные инеем. – Ему человека убить, как муху.

– Но трёх-то труднее? Могут разлететься... Он что, уже убивал?

– Вы уедете – и всё... С вас взятки гладки... Вот и смеётесь. А тут такое поднимется, Господи! Шурочка-то – наша местная власть. И чего я поехала? Муж-то смеялся надо мной, говорит, в баню ходят те, кому лень чесаться. – Нина уже похоронила подругу, оплакала и просчитывала последствия случившегося, чтобы не попасть впросак, когда станут допрашивать. – Вот теперь и чешись.

Мне вдруг захотелось спрятаться ото всех, но я, упрямясь, одолевая в себе хворь, включил фары и в тоскливом мраке как бы выхватил портняжными ножницами два мерцающих бело-голубых клина, постепенно сходящих на нет, и сразу оживил ночь, придал ей мистической тайны. Золотушный свет выхватил окраек берёзового перелеска, угол дома с высоким, под окна, сугробом, жёлтый косячок окна, лежащий на снегу, сахаристую колею дороги, над которой мельтешили, уносясь в темень, белые пушистые мухи, похожие на мотыльков-однодневок, любопытно слетающихся на огонь. Мороз прихватил ноги, и руки, и лицо, но я упрямо не залезал в машину, словно бы взглядом вызволял женщину из беды.

Шура появилась неожиданно, словно выткалась из снежной летучей ки-сеи, выпуталась из траурных суконных полотнищ ночи, выметнулась из череды сыпучих барханов. Я-то настороженно ждал гулкового хлопка двери, морозного кряхтения крыльца, капустного скрипа тропы под ступнею...

А женщина прошелестела крылами откуда-то сбоку, из дремучих ельников, как огромная бабочка-траурница, и опустилась на дорогу перед самой машиной в слепящий поток. На Шурочке было длинное чёрное пальто, чёрная широкополая шляпа, слегка присдвинутая на лоб, и длинный красный шарф, небрежно намотанный на шею. В этом одеянии женщина показалась мне таинственной, длинноногой и стройной. Она приветливо улыбнулась мне, как будто ничего не случилось.

– Поехали, – бросила мимоходом и с трудом втиснулась в салон.

Но я ждал. Что-то неясное, неразрешённое до конца мешало мне уехать сразу, словно бы человеку, оставшемуся в доме, на наших глазах стало плохо, а мы вот бросили его одного и обрекли на смерть. Тут гулко хлопнула в доме дверь, торопливо, на каких-то жидких, подламывающихся ногах пошёл Фёдор. Ему трудно было стоять, и он сразу опёрся о капот машины. «Крепко назююкался», – подумал я, но вдруг Зулус побелел лицом и стал медленно опадать на дорогу. Я оглянулся на Шуру, она сидела, уставясь равнодушным взглядом в небо, и деловито разматывала шарф.

– Фёдор, что с тобою? – спросил я. – Может, тебе плохо?

– Уезжайте немедленно. Богом прошу, – хрипло сказал Зулус, по обыкновению резко обкусывая фразы. Но я видел, что мужика трясёт, опрокидывает на снег, и потому медлил, толочся возле, как бы выигрывал время.

– Паша, я ведь её так люблю, – вдруг признался Фёдор и тут же выпрямился, обрёл прежнюю осанку красивого пробивного мужика, ходака по бабам. И добавил едва слышно, отворотясь от меня, наверное, стеснялся откровенности и стыдился своей слабости. – Если она бросит меня, я умру...

– Да перестань, Фёдор, переживать-то, – с великодушной весёлостью в голосе воскликнул я. – Ведь милые бранятся – только тешатся. Всё наладится, вот увидишь. – В порыве дружелюбия и мужской солидарности я обнял Зулуса, приподнявшись на цыпочки, принагнул мужика за шею, потёрся заиндевелой бородою о его бритую щеку. Я почувствовал, что Фёдор едва сдерживает рыдания, с болью застрявшие в груди, и что душа его разрывается. Он легко оттолкнул меня и побрёл, пошатываясь, к деревне; я провожал его жалостным взглядом до той поры, пока Зулус не стёрся в темноте. На сердце у меня скребли кошки.

– Паша, ты долго там? Давай, поехали! – приказала Шура. – Чего ещё ждать? – И когда я тронул «запорожец», досказала. – И не бери в ум. Ничего с Фёдором не случится, не затоскуется. Свинья и есть свинья. Свинья всегда грязь найдёт. Скоро другую сучонку себе съест. Нет на свете такой бабы, что отказала бы, и нет такой, что привязала бы...

– Как знать, – с сомнением буркнул я. – Признание Зулуса не выходило из ума. Мною вдруг овладела усталость, и я спотычливо тронул своего доходягу.

– Хорошая машина – «запорожец», – подбодрила меня Шура. – Разлечься человеку не даёт, держит его в узде. Раньше я мечтала только о такой. Чувствуется русская воля, и едешь, как на коне.

Шура заговаривала мне зубы, но успокаивала себя.

– Ну, как банька? – спросила после долгого молчания, когда мы въехали в Тюрвищи.

– Мне мой Мамонтов говорит: «В баню ходят те, кому лень чесаться», – ответила Нина.

– Вот и скобли своего плешивого Мамонта, пока не исдохнет, – грубо оборвала Шура товарку и засмеялась, кокетливо поправляя на голове шляпу. – У меня где-то завалился собачий гребень. Приходи, подарю...

– Грубая, ты, Шура, – обиделась Нина.

– А ты, Нинка, подлая... Павел Петрович, остановите машину. Не госпожа, на своих двоих дойдет. – Шура приподняла кресло, порывисто выскочила. – Поди и чеши своего Мамонта...

Тюрвищи походили на огромную разросшуюся вкривь-вкось деревню, закиданную снегами, и только кое-где из тёмной мути проступали белесые шары уличных фонарей. Ссутулясь, оскальзываясь на дорожных катыхах, Нина потащилась во тьму и скоро исчезла в переулках. Шура захлопнула дверь и, скоро остывая, добавила сварливо:

– Ей, видишь ли, баня не понравилась... Не нравится – строй свою. Или чешись об Мамонта до посинения. – Шура вдруг залилась мелким звонким смехом, смахивающим на запоздалый поминный плач. – Ой, дуры мы бабы, дуры... – Повторила несколько раз, пока мы едва катили по ночным Тюрвищам, разглядывая боковые отвилки, чтобы не заблудиться. – Двадцать лет тут прожила, а всё, как в диком лесу...